

Н О В Ы Й М И Р



*Привет
первой сессии
Верховного Совета
СССР*

Я Н В А Р Ь 1938

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ЯНВАРЬ

МОСКВА
1938

Уполн. Главлита Б—32784. Статформат Б/5 176 × 250. Об'єм 20 печ. л. по 64.000 знак. Техн. ред. С. Гуревич.

Одано в набор 21/ХІІ—37 г. Подписано к печати 10/І—38 г. Тир. 70.000. Зак. 3225.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РЕЧЬ ТОВАРИЦА СТАЛИНА на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа гор. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре.	5
СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.	10
ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ НАРОДА.	12
ЛЕНИН И СТАЛИН В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ СССР:	
По твоим заветам все исполнилось, русский сказ.	17
Два сокола, перевод с украинского.	20
Он живет, перевод с даргинского.	21
Твоим бойцом я стану, перевод с армянского.	23
Исполни веков, перевод с таджикского.	24
Слава Сталину будет вечная, русская былина.	25
Ленинская правда, белорусская сказка.	30
Как Федосья Никитишна у Ленина была.	32
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Хлеб, повесть.	33
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ. — О ком поет народ. (Отрывок из посмертной поэмы о Сталине).	90
ДЖАМБУЛ. — Поэма о наркоме Ежове.	92
МИХ. ШОЛОХОВ. — Тихий Дон, роман, продолжение.	97
СЕРГЕЙ МАРКОВ. — Заморский капитан. Донат, китовый дружок, стихотворения.	118
АЛ. МАЛЫШКИН. — Люди из захолустья, роман, продолжение.	123
★	
К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ВЧК — ОГПУ — НКВД.	209
С. ДЗЕРЖИНСКАЯ. — Памяти Феликса Дзержинского.	218
ИЗБРАННИКИ НАРОДА.	220
ЗА РУБЕЖОМ	
Г. МЕЗЕНЦЕВ. — Возвращение.	232
ЭДГАР СНОУ. — Вожди и герои китайского народа.	250
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО	
В. КИРПОТИН. — Великий русский поэт Н. А. Некрасов.	284
ИВ. АНИСИМОВ. — Байрон.	293
АЛ. ЗОТОВ и П. СЫСОЕВ. — Успехи советской живописи (к открытию выставки «Индустрия социализма»).	303
К. СИТНИК. — Выставка грузинского искусства.	313

★

Тихий Дон

Роман

МИХ. ШОЛОХОВ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА XX

Донская армия, выйдя за границу Хоперского округа, вновь, как и в 1918 году, утратила наступательную силу своего движения. Казаки-повстанцы Верхнего Дона и, отчасти, хоперцы попрежнему не хотели воевать за пределами Донской области; усилилось и сопротивление красных частей, получивших свежие пополнения, действовавших теперь на территории, население которой относилось к ним сочувственно. Казаки снова были непрочны перейти к оборонительной войне, и никакими ухищрениями командование Донской армии не могло понудить их сражаться с таким же упорством, с каким они недавно сражались в пределах своей области, — несмотря на то, что соотношение сил на этом участке было в их пользу: против потрепанной в боях 9-й Красной армии, исчислявшейся в 11 000 штыков, 5 000 сабель, при 52 орудиях, — были выдвинуты казачьи корпуса общей численностью в 14 400 штыков, 10 600 сабель, при 53 орудиях.

Наиболее активные операции происходили на фланговых направлениях и именно там, где действовали части Добровольческо-Кубанской южной армии. Одновременно с успешным продвижением вглубь Украины часть Добровольче-

ской армии под командованием генерала Врангеля оказывала сильное давление на 10-ю Красную армию, тесня ее, с ожесточенными боями продвигалась в саратовском направлении. 28 июля кубанская конница вплотную подошла к Камышину, захватив в плен большую часть войск, оборонявших его. Контратака, предпринятая частями 10-й армии, была отбита. Смело маневрировавшая Кубанско-Терская сводная конная дивизия грозила обходом левого фланга, вследствие чего командование 10-й армии отвело части на фронт Борзенково — Латышево — Красный Яр — Каменка — Банное. К этому времени 10-я армия насчитывала в своих рядах 18 000 штыков, 8 000 сабель и 132 орудия; противостоявшая ей Добровольческо-Кубанская армия исчислялась в 7 600 штыков, 10 750 сабель, при 68 орудиях. Кроме этого, белые имели отряды танков, а также располагали значительным количеством самолетов, несших разведывательную службу и принимавших участие в боевых операциях. Но не помогли Врангелю ни французские самолеты, ни английские танки и батареи; дальше Камышина продвинуться ему не удалось. На этом участке завязались затяжные, упорные бои, обусловившие лишь незначительные изменения в линии фронта.

В конце июля началась подготовка Красных армий к переходу в широкое наступление по всему центральному

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 11 и 12 за 1937 г.

участку Южного фронта. С этой целью 9-я и 10-я армии по плану Троцкого объединялись в ударную группу под командованием Шорина. В резерв ударной группы должны были поступить перебрасываемые с Восточного фронта 28-я дивизия с бригадой бывшего казанского укрепленного района и 25-я дивизия с бригадой саратовского укрепленного района. Помимо этого командование Южным фронтом усиливало ударную группу войсками, находившимися во фронтовом резерве, и 56-й стрелковой дивизией. Нанесение вспомогательного удара намечалось на воронежском направлении силами 8-й армии с приданными ей 31-й стрелковой дивизией, снятой с Восточного фронта, и 7-й стрелковой дивизией.

Общий переход в наступление намечался между 1-м и 10 августа. Удар 8-й и 9-й армий по плану главного красного командования должен был сопровождаться охватывающими действиями фланговых армий, причем особенно ответственная и сложная задача выпадала на долю 10-й армии, которой надлежало, действуя по левому берегу Дона, отрезать главные силы противника от Северного Кавказа. На западе частью сил 14-й армии предполагалось произвести энергичное демонстративное движение к линии Чаплино — Лозовая.

В то время, когда на участках 9-й и 10-й армий производились необходимые перегруппировки, белое командование в целях срыва подготовлявшегося противником наступления заканчивало формирование мамонтовского корпуса, рассчитывая прорвать фронт и бросить корпус в глубокий рейд по тылам красных армий. Успех армии Врангеля на царицынском направлении позволил растянуть фронт этой армии влево и, сократив тем самым фронт Донской армии, взять из состава ее несколько конных дивизий. 7 августа в станции Урюпинской было сосредоточено 6 000 сабель, 2 800 штыков и три четырехорудийных батареи. А 10-го вновь сформированный корпус под командованием генерала Мамонтова прорвался на стыке 8-й и 9-й Красных армий и от Новохоперска направился на Тамбов.

По первоначальному замыслу белого командования предполагалось направить в рейд по красным тылам, кроме корпуса Мамонтова, еще и конный корпус генерала Коновалова, но ввиду завязавшихся боев на участке, занимаемом частями коноваловского корпуса, его не удалось вытянуть с фронта. Этим обстоятельством и объясняется ограниченность задачи, возложенной на Мамонтова, которому вменялось в обязанность не зарываться и не мечтать о походе на Москву, а, разгромив тылы и коммуникации противника, вновь итти на соединение, тогда как вначале ему и Коновалову было приказано всей конной массой нанести сокрушительный удар во фланг и тыл центрального Красным армиям, а затем уже форсированным маршем двигаться вглубь России и, пополняя силы за счет антисоветски настроенных слоев населения, продолжать движение до Москвы.

8-й армии удалось восстановить положение своего левого фланга введением в дело армейского резерва. Правый фланг 9-й армии оказался расстроенным сильнее. Принятыми мерами командующему главной ударной группой Шорину удалось сомкнуть внутренние фланги обеих армий, но не удалось задержать конницу Мамонтова. По приказу Шорина навстречу Мамонтову из района Кирсанова была двинута резервная 56-я дивизия. Батальон ее, посаженный на подводы и высланный на станцию Сампур, был разбит во встречном бою одним из боковых отрядов мамонтовского корпуса. Такая же участь постигла и кавалерийскую бригаду 36-й стрелковой дивизии, двинутую для прикрытия участка железной дороги Тамбов—Балашов. Нарвавшись на всю массу конницы Мамонтова, бригада после короткого боя была рассеяна.

18 августа Мамонтов с налета занял Тамбов. Но это обстоятельство не помешало основным силам ударной группы Шорина начать наступление, хотя для борьбы с Мамонтовым и пришлось выделить из состава группы почти две пехотных дивизии. Одновременно началось наступление и на украинском участке Южного фронта.

Фронт, на севере и северо-востоке почти по прямой тянувшийся от Старого Оскола до Балашова и уступом сходящийся к Царицыну, стал выравниваться. Казачьи полки под давлением превосходящих сил противника отступали на юг, переходя в частые контратаки, задерживаясь на каждом рубеже. Вступив на донскую землю, они снова обрели утраченную боеспособность; дезертирство резко сократилось; из станиц Среднего Дона потекли пополнения. Чем дальше части ударной группы Шорина вторгались в землю Войска Донского, тем сильнее и ожесточеннее становилось оказываемое им сопротивление. По собственному почину казаки повстанческих станиц Верхне-Донского округа объявляли на сходах поголовную мобилизацию, служили молебны и, не медля, отправлялись на фронт.

Губительные последствия пораженческого плана Троцкого начинали сказываться в полной мере: с непрерывными боями продвигаясь к Хопру и Дону, преодолевая ожесточенное сопротивление белых и находясь на территории, большинство населения которой относилось к красным частям явно враждебно, — группа Шорина постепенно растрачивала силу наступательного порыва. А тем временем в районе станицы Качалинской и станицы Котлубань белое командование уже образовывало сильную маневренную группу из трех кубанских корпусов и 6-й пехотной дивизии для удара по 10-й Красной армии, продвижение которой развивалось с наибольшим успехом.

ГЛАВА XXI

Мелеховская семья за один год убавилась наполовину. Прав был Пантелей Прокофьевич, сказав однажды, что смерть возлюбила их курень. Не успели похоронить Наталью, как уже снова запахло ладаном и васильками в просторной мелеховской горнице. Через полторы недели после отъезда Григория на фронт утопилась в Дону Дарья.

В субботу, приехав с поля, пошла она с Дуняшкой купаться. Около огородов они разделались, долго сидели на мягкой,

прямой ногами траве. Еще с утра Дарья была не в духе, жаловалась на головную боль и недомогание, несколько раз украдкой плакала... Перед тем как войти в воду, Дуняшка собрала в узел волосы, повязалась косынкой и, искоса глянув на Дарью, сожалеюще сказала:

— До чего ты, Дашка, худая стала, ажник все жилки наруже!

— Скоро поправлюсь..

— Перестала голова болеть?

— Перестала. Ну, давай купаться, а то уж не рано. — Она первая с разбегу бросилась в воду, окунулась с головой и, вынырнув, отфыркиваясь, поплыла на середину. Быстрое течение подхватило ее, начало сносить.

Любуясь на Дарью, отмахивавшую широкими мужскими саженками, Дуняшка забрела в воду по пояс, умылась, смочила грудь и нагретые солнцем сильные, женственно-округлые руки. На соседнем огороде две снохи Обнизовых поливали капусту. Они слышали, как Дуняшка, смеясь, звала Дарью:

— Плыви назад, Дашка! А то сом тебя утнет!

Дарья повернула назад, проплыла сажня три, а потом на миг до половины вскинулась из воды, сложила над головой руки, крикнула: «Прощайте, бабоньки!» — и камнем пошла ко дну.

Через четверть часа бледная Дуняшка в одной исподней юбке прибежала домой.

— Дарья утопла, маманя!.. — задыхаясь, еле выговорила она.

Только на другой день утром поймали Дарью крючками нарезной снасти. Старый и самый опытный в Татарском рыбацком Архип Песковатсков на заре поставил шесть концов нарезных по течению ниже того места, где утонула Дарья, проверять поехал вместе с Пантелеем Прокофьевичем. На берегу собралась толпа ребятишек и баб, среди них была и Дуняшка. Когда Архип, подцепив ручкой весла четвертый шнур, отехал сажень десять от берега, Дуняшка отчетливо слышала, как он вполголоса сказал: «Кажись, есть...».

Архип и стал осторожнее перебирать снасть, с видимым усилием подтягивая

отвесно уходивший в глубину шнур. Потом что-то забелело у правого берега, оба старика нагнулись над водой, баркас зачерпнул краем воды, и до притихшей толпы донесся глухой стук вваленного в баркас тела. В толпе дружно вздохнули. Кто-то из баб тихо вскрикнул. Стоявший неподалеку Христоня грубо крикнул на ребят: «А ну, марш отседова!». Сквозь слезы Дуняшка видела, как Архип, стоя на корме, ловко и бесшумно опуская весло, греб к берегу. С шорохом и хрустом дробя прибрежную меловую осыпь, баркас коснулся земли. Дарья лежала, безжизненно подогнув ноги, привалившись щекой к мокрому днищу. На белом теле ее, лишь слегка посиневшем, принявшем какой-то голубовато-темный оттенок, виднелись глубокие проколы — следы крючков. На сухощавой смуглой икре, чуть пониже колена, около матерчатой подвязки, которую Дарья перед куланьем, как видно, позабыла снять, розовела и слегка кровоточила свежая царапина. Жало нарезного крючка скользнуло по ноге, пробороzdило кривую, рваную линию. Судорожно комкая завеску, Дуняшка первая подошла к Дарье, накрыла ее разорванным по шву мешком. Пантелей Прокофьевич с деловитой поспешностью засучил шаровары, начал подтягивать баркас. Вскоре под'ехала подвода. Дарью перевезли в мелеховский курень.

Пересилив страх и чувство гадливости, Дуняшка помогала матери обмывать холодное, хранившее студеность глубинной донской струи тело покойницы. Было что-то незнакомое и строгое в слегка припухшем лице Дарьи, в тусклом блеске обезумевших водою глаз. В волосах ее серебром искрился речной песок, на щеках зеленели влажные нити прилипшей тины-шелковицы, а в раскинутых, безвольно свисавших с лавки руках была такая страшная успокоенность, что Дуняшка, взглянув, поспешно отходила от нее, дивясь и ужасаясь тому, как непохожа мертвая Дарья на ту, что еще так недавно шутила и смеялась и так любила жизнь. И после долго еще, вспомнив каменную холодность дарьяных грудей и живота, упругость окостеневших членов, Дуняшка вся содрога-

лась и старалась поскорее забыть все это. Она боялась, что мертвая Дарья будет ей сниться по ночам, неделю спала на одной кровати с Ильиничной и перед тем, как лечь, — молилась богу, мысленно просила: «Господи! Сделай так, чтобы она мне не снилась! Укрой, господи!».

Если б не рассказы баб Обнизовых, слышавших, как Дарья крикнула: «Прощайте, бабоньки!», — похоронили бы утопленницу тихо и без шума, но, узнав про этот предсмертный возглас, явно указывавший на то, что Дарья намеренно лишила себя жизни, поп Виссарион решительно заявил, что самоубийцу отпевать не будет. Пантелей Прокофьевич возмутился:

— Как это ты не будешь отпевать? Она что, нехрещеная, что ли?

— Самоубийцу не могу хоронить, по закону не полагается.

— А как же ее зарывать, как собаку, по-твоему?

— А по-моему, как хочешь и где хочешь, только не на кладбище, где погребены честные христиане.

— Нет, уж ты смилуйся, пожалуйста! — перешел к уговорам Пантелей Прокофьевич. — У нас в семействе такой срамы век не было.

— Не могу. Уважаю тебя, Пантелей Прокофьевич, как примерного прихожанина, но не могу. Донесут благочинному — и беды мне не миновать, — заупрямился поп.

Это был позор. Пантелей Прокофьевич всячески пытался уговорить взноровившегося попа, обещал уплатить дорожке и надежными николаевскими деньгами, предлагал в подарок овцу-перьярку, но, видя, под конец, что уговоры не действуют, пригрозил:

— За кладбищем я ее зарывать не буду. Она мне не сбоку-припеку, а родная сноха. Муж ее погиб в бою с красными и был в офицерском чине, сама она егорьевскою медалью была пожалована, а ты мне такую хреновину прешь?! Нет, батя, не выйдет твое дело, будешь хоронить за мое почтение! Нехай она пока лежит в горнице, а я зараз же собочу об этом станишному атаману. Он с тобой погударит!

Пантелей Прокофьевич вышел из пововского дома, не попрощавшись, и даже дверь вогорячах хлопнул. Однако угроза возымела действие: через полчаса пришел от попа посыльный, передал, что отец Виссарион с причтом сейчас придет.

Похоронили Дарью, как и полагается, на кладбище, рядом с Петром. Когда рыли могилу, Пантелей Прокофьевич облюбовал и себе местечко. Работая лопатой, он огляделся, прикинул, что лучше места не сыскать, да и незачем. Над могилой Петра шумел молодыми ветвями посаженный недавно тополь; на вершинке его наступающая осень уже окрасила листья в желтый, горький цвет увядания. Через разломанную ограду, между могил телята пробили тропинки; около ограды проходила дорога к ветряку, посаженные заботливыми родственниками покойников деревья — клены, тополя, акации, а также дико растущий терн — зеленели приветливо и свежо; около них буйно кучерявилась повитель, желтела поздняя сурепка, колосился овсюг и зернистый пырей. Кресты стояли, снизу доверху оплетенные приветливыми синими вьюнками. Место было действительно веселое, сухое...

Старик рыл могилу, часто бросал лопату, присаживался на влажную глинистую землю, курил, думал о смерти. Но, видно, не такое наступило время, чтобы старикам можно было тихо помирать в родных куренях и покоиться там, где наши себе последний приют их отцы и деды...

После того как похоронили Дарью, еще тише стало в мелеховском доме. Возили хлеб, работали на молотье, собирали богатый урожай с бахчей. Ждали вестей от Григория, но о нем, после отъезда его на фронт, ничего не было слышно. Ильинична не раз говаривала: «И поклона детишкам не придет окаennyй! Померла жена, и все мы стали не нужны ему...». Потом в Татарский чаще стали наведываться служивые казаки. Пошли слухи, что казаков сбили на Балашовском фронте и они отступают к Дону, чтобы, пользуясь водной преградой, обороняться до зимы. А что должно было случиться зимой — об

этом, не таясь, говорили все фронтовики: «Как станет Дон — погонят красные нас до самого моря!».

Пантелей Прокофьевич, усердно работая на молотье, как будто и не обращал особого внимания на бродившие по Обдону слухи, но оставаться равнодушным к происходившему не мог. Еще чаще начал он покрикивать на Ильиничну и Дуняшку, еще раздражительнее стал, узнав о приближении фронта. Он нередко мастерил что-либо по хозяйству, но стоило только делу не заладиться в его руках, как он с яростью бросал работу, отплевываясь и ругаясь, убегал на гумно, чтобы там приостыть от возмущения. Дуняшка не раз была свидетельницей таких вспышек. Однажды он взялся поправлять ярмо, работа не клеилась, и ни с того, ни с сего взбесившийся старик схватил топор и изрубил ярмо так, что от него остались одни щепки. Так же вышло и с починкой хомута. Вечером при огне Пантелей Прокофьевич ссучил дратву, начал шивать распоровшуюся хомутину; то ли нитки были гнилые, то ли старик нервничал, но дратва оборвалась два раза подряд, — этого было достаточно: страшно выругавшись, Пантелей Прокофьевич вскочил, опрокинул табурет, отбросил его ногой к печке и, рыча, словно пес, принялся рвать зубами кожаную обшивку на хомуте, а потом бросил хомут на пол и, по-петушину подпрыгивая, стал топтать его ногами. Ильинична, рано улегшаяся спать, услышав шум, испуганно вскочила, но, рассмотрев, в чем дело, не вытерпела, попрекнула старика:

— Очумел ты, проклятый, на старости лет?! Чем тебе хомут оказался виноватый?

Пантелей Прокофьевич обезумевшими глазами глянул на жену, заорал:

— Молчи-и-и-и, такая сякая!!! — И, ухватив обломок хомута, запустил им в старуху.

Давясь от смеха, Дуняшка пулей вылетела в сенцы. А старик, побушевав немного, угомонился, попросил прощения у жены за сказанные в сердцах крутые слова и долго кряхтел и почесывал затылок, поглядывая на обломки

злополучного хомута, прикидывая в уме — на что же их можно употребить? Такие припадки ярости повторялись у него не раз, но Ильинична, наученная горьким опытом, избрала другую тактику вмешательства: как только Пантелей Прокофьевич, изрыгая ругательства, начинал сокрушать какой-нибудь предмет хозяйственного обихода, старуха смиренно, но достаточно громко говорила:

— Бей, Прокофич! Ломай! Мы ишо с тобой наживем! — И даже пробовала помогать в учинении погрома. Тогда Пантелей Прокофьевич сразу остывал, с минуту смотрел на жену несмыслящими глазами, а потом дрожащими руками шарил в карманах, находил кiset и сконфуженно присаживался где-нибудь в сторонке покурить, успокоить расхолодившиеся нервы, в душе проклиная свою вспышчивость и подсчитывая понесенные убытки. Жертвой необузданного стариковского гнева пал забравшийся в палисадник трехмесячный поросенок. Ему Пантелей Прокофьевич колом переломил хребет, а через пять минут, дергая при помощи гвоздя щетину с прирезанного поросенка, виновато, заискивающе посматривал на хмурую Ильиничну, говорил:

— Он и поросенок-то был так, одно горе... Один черт он бы издох. На них аккурат в это время чума нападает; то хучь с'едим, а то бы так, зря пропал. Верно, старуха? Ну, чего ты, как градовая туча, стоишь? Да будь он трижды проклят, этот поросенок! Уж был бы поросенок, как поросенок, а то так, оморок поросаящий! Его не то, что колом, — соблей можно было перешибить! А прокудной какой! Гнездов сорок картошки перерыл!

— Ее и всей-то картошки в палисаднике было не больше тридцати гнезд, — тихо поправила его Ильинична.

— Ну, а было бы сорок — он и сорок бы перепаскудил, он такой! И слава богу, что избавились от него, от враженьяки! — не задумываясь, отвечал Пантелей Прокофьевич.

Детишки скучали, проводив отца. Занятая по хозяйству Ильинична не могла уделять им достаточного внимания, и

они, предоставленные самим себе, целыми днями играли где-нибудь в саду или на гумне. Однажды после обеда Мишатка исчез и пришел только на закате солнца. На вопрос Ильиничны — где он был, Мишатка ответил, что игрался с ребяташками возле Дона, но Полюшка тут же изобличила его:

— Брешет он, бабунюшка! Он у тетки Аксиньи был!

— А ты почем знаешь? — спросила, неприятно удивленная новостью, Ильинична.

— Я видала, как он с ихнего база перелезал через плетень.

— Там, что ли, был? Ну, говори же, чадушка, чего ты скраснелся?

Мишатка посмотрел бабке прямо в глаза, ответил:

— Я, бабунюшка, наобманывал... Я, правда, не у Дона был, а у тетки Аксиньи был.

— Чего ты туда ходил?

— Она меня покликкала, я и пошел.

— А на что же ты обманывал, будто с ребятами играл?

Мишатка на секунду потупился, но потом поднял правдивые глазенки, шепнул:

— Боялся, что ты ругаться будешь...

— За что же я тебя ругала бы? Не-ет... А чего она тебе зазвала? Чего ты у ней там делал?

— Ничего. Она увидала меня, шумнула: «Пойди ко мне!», я подошел, она повела меня в курень, посадила на стулу...

— Ну? — нетерпеливо выспрашивала Ильинична, искусно скрывая охватившее ее волнение.

— ... холодными блинцами кормила, а потом дала вот чего. — Мишатка вытащил из кармана кусок сахара, с гордостью показал его и снова спрятал в карман.

— Чего ж она тебе говорила? Может, спрашивала чего?

— Говорила, чтобы я ходил ее проведывал, а то ей одной скучно, сулилась гостинец дать... Сказала, чтобы я не говорил, что был у ней. А то, говорит, бабка твоя будет ругать.

— Вон как... — задыхаясь от сдерживаемого негодования, проговорила Ильи-

нична. — Ну, и что же она, спрашивала у тебя что?

— Спрашивала.

— Об чем же она спрашивала? Да ты рассказывай, милушка, не бойсь!

— Спрашивала: скучаю я по папашке? Я сказал, что скучаю. Ишо спрашивала, когда он приедет и что про него слышать, а я сказал, что не знаю: что он на войне воюет. А посла она посадила меня к себе на колени и рассказала сказку. — Мишатка оживленно блеснул глазами, улыбнулся. — Хорошую сказку! Про какого-то Ванюшку, как его гусли-лебеди на крылах несли, и про бабу Ягу.

Ильинична, поджав губы, выслушала мишаткину исповедь, строго сказала:

— Больше, внучек, не ходи к ней, не надо. И гостинцев от ней никаких не бери, не надо, а то дед узнает и высекет тебя. Не дай бог узнает дед — он с тебя кожу дерет! Не ходи, чадунюшка!

Но, несмотря на строгий приказ, через два дня Мишатка снова побывал в астаховском курене. Ильинична узнала об этом, глянув на мишаткину рубашонку: разорванный рукав, который она не удосужилась утром зашить, был искусно прострочен, а на воротнике белела перламутровая новенькая пуговица. Зная, что занятая на молотье Дуняшка не могла возиться днем с починкой детской одежды, Ильинична с укором спросила:

— Опять к соседям ходил?

— Опять... — растерянно проговорил Мишатка и тотчас добавил: — Я больше не буду, бабунюшка, ты только не ругайся...

Тогда же Ильинична решила поговорить с Аксиньей и твердо заявить ей, чтобы она оставила Мишатку в покое и не снискивала его расположения ни подарками, ни рассказыванием сказок. «Свела со света Наталью, а зараз норовит проклятая к детям подобраться, чтобы через них потом Гришку опутать. Ну, и змея! В снохи при живом муже метит... Только не выйдет ее дело! Да разве ее Гришка после такого греха возьмет?» — думала старуха.

От ее пронизательного и резнивого материнского взора не скрылось то об-

стоятельство, что Григорий, будучи дома, избегал встреч с Аксиньей. Она понимала, что он это делал не из боязни людских нареканий, а потому, что считал Аксинью повинной в смерти жены. Втайне Ильинична надеялась на то, что смерть Натальи навсегда разделит Григория с Аксиньей и Аксинья никогда не войдет в их семью.

Вечером в тот же день Ильинична увидела Аксинью на пристани возле Дона, подозвала ее:

— А ну, подойди ко мне на-час, погугарить надо...

Аксинья поставила ведра, спокойно подошла, поздоровалась.

— Вот что, милая, — начала Ильинична, испытующе глядя в красивое, но ненавистное ей лицо соседки. — Ты чего это чужих детей приманываешь? На что ты мальчишку зазываешь к себе и примолвываешь его? Кто тебя просил зашивать ему рубашонку и задаривать его всякими гостинцами? Ты что думаешь — без матери за ним догляду нету? Что без тебя не обойдутся? И хватает у тебя совести, бесстыжие твои глаза!

— А что я плохого сделала? Чего вы ругаетесь, бабушка? — вспыхнув, спросила Аксинья.

— Как это — что плохого? Да ты имеешь право касаться натальиногo дeтjа, ежли ты ee самоy свeла в мoгилу?

— Что вы, бабушка! Окститесь! Кто ee сводил? Сама над собой учинила.

— А не через тебя?

— Ну, уж это я не знаю.

— Зато я знаю! — взволнованно выкрикнула Ильинична.

— Не шумите, бабушка, я вам не сноха, чтобы на меня шуметь. У меня для этого муж есть.

— Вижу тебя наскрозь! Вижу, чем ты и дышишь! Не сноха, а в снохи лезешь! Детей по-первам хочешь примануть, а посла к Гришке подобраться?

— К вам в снохи я иттить не собираюсь. Ополумели вы, бабушка! У меня муж живой.

— То-то ты от него, от живого-то, и норовишь к другому привязаться!

Аксинья заметно побледнела, сказала:

— Не знаю, с чего вы на меня напустились и срамотите меня... Ни на кого я никогда не навязывалась и навязываться не собираюсь, а что вашего внушенька примолвила, — чего ж тут плохого? Детей у меня, вы сами знаете, нету, на чужих радуюсь, и то легче, вот и зовала его... Подумаешь, задаривала я его! Грудку сахару дала дитю, так это и задариванье! Да к чему мне его задаривать-то? Так, болтаете вы, бог знает чего!..

— При живой матери что-то ты его не зазывала! А как померла Наталья — так и ты доброхоткой объявилась!

— Он у меня и при Наталье в гостях бывал, — чуть приметно улыбнувшись, сказала Аксинья.

— Не бреши, бесстыжая!

— Вы спросите у него, а потом уж брехню задавайте.

— Ну, как бы то ни было, а больше не смей мальчечку заманивать к себе. И не думай, что этим ты милее станешь Григорию. Женой его тебе не бывать, так и знай!

С исказившимся от гнева лицом Аксинья хрипло сказала:

— Молчи! У тебя он не спросится! И ты в чужие дела не лезь!

Ильинична хотела еще что-то сказать, но Аксинья молча повернулась, подошла к ведрам, рывком подняла на плечи коромысло и, расплескивая воду, быстро пошла по стежке.

С той поры при встречах она не здоровалась ни с кем из Мелеховых, с сатанинской гордостью, раздувая ноздри, проходила мимо, но, завидев где-нибудь одного Мишатку, пугило оглядывалась и, если никого не было поблизости, подбегала к нему, наклонившись, прижимала его к груди и, целуя загорелый лобик и угрюмоватые, черные, мелеховские глазенки, смеясь и плача, бессвязно шептала: «Родный мой Григорьевич! Хороший мой! Вот как я по тебе соскучилась! Дура твоя тетка Аксинья... Ах, какая дура-то!». И после долго не сходила с ее губ трепетная улыбка, а увлажненные глаза сияли счастьем, как у молоденькой девушки.

В конце августа был мобилизован Пантелей Прокофьевич. Одновременно с

ним из Татарского ушли на фронт все казаки, способные носить оружие. В хуторе из мужского населения остались только инвалиды, подростки да древние старики. Мобилизация была поголовной, и освобождения на врачебных комиссиях, за исключением явных калек, не получал никто.

Пантелей Прокофьевич, получив от хуторского атамана приказ о явке на сборный пункт, наскоро попрощался со старухой, с внуками и Дуняшкой, кряхтя, опустился на колени, положил два земных поклона, — крестясь на иконы, сказал:

— Прощайте, милые мои! Похоже, что не доведется нам свидеться, должно, пришел последний час. Наказ вам от меня такой: молотите хлеб и день, и ночь, до дождей постарайтесь кончить. Нужно будет — наймите человека, чтобы пособил вам. Ежли не вернусь к осени — управляйтесь без меня; зяби вспашите сколько осилите, жита посейте хучь с десятину. Смотри, старуха, веди дело с толком, рук не роняй! Вернемся мы с Григорием, нет ли, а вам хлеб дюжее всего будет нужен. Война — войной, но без хлеба жить тоже скучно. Ну, храни вас господь!

Ильинична проводила старика до площади, глянула в последний раз, как он рядом с Христоней прихрамывает, поспешая за подводой, а потом вытерла завеской припухшие глаза и, не оглядываясь, направилась домой. На гумне ждал ее недомолоченный посад пшеницы, в печи стояло молоко, дети с утра были не кормлены, хлопот у старухи было великое множество, и она спешила домой, не останавливаясь, молча кланяясь изредка встречавшимся бабам, не вступая в разговоры, и только утвердительно кивала головой, когда кто-нибудь из знакомых соблезнующе спрашивал: «Служивого провожала, что ли?».

Несколько дней спустя Ильинична, подоив на заре коров, выгнала их на проулок и только-что хотела итти во двор, как до слуха ее дошел какой-то глуховатый, осадистый гул. Оглядевшись, она не нашла на небе ни единой тучки. Немного погода гул повторился

— Слышишь, бабка, музыку? — спросил собиравший табун старый пастух.

— Какую музыку-то?

— А вот, что на одних басах играет.

— Слышать слышу, да не пойму, что это такое.

— Скоро поймешь. Вот как зачнут с этой стороны по хутору кидать — сразу поймешь! Это из орудиев бьют. Старикам нашим потроха вынают...

Ильинична перекрестилась, молча пошла в калитку.

С этого дня орудийный гул звучал, не переставая, четверо суток. Особенно слышно было зорями. Но когда дул северо-восточный ветер, гром отдаленных боев слышался и среди дня. На гумнах на минуту приостанавливалась работа, бабы крестились, тяжело вздыхали, вспоминая родных, шепча молитвы, а потом снова начинали глухо погромыхивать на токах каменные катки, понукали лошадей и быков мальчишки-погонычи, гремели веялки, трудовой день вступал в свои неотъемлемые права. Конец августа был погожий и сухой на диво. По хутору ветер носил мякинную пыль, сладко пахло обмолоченной ржаной соломой, солнце грело немилосердно, но во всем уже чувствовалось приближение недалекой осени. На выгоне тускло белела отцветшая сизая полынь, верхушки тополей за Доном пожелтели, в садах резче стал запах антоновки, по осеннему прояснились далекие горизонты, а на опустевших полях уже показались первые станицы пролетных журавлей.

По Гетманскому шляху изо дня в день тянулись с запада на восток обозы, подвозившие к переправам через Дон боевые припасы; в обдонских хуторах появились беженцы. Они рассказывали, что казаки отступают с боями; некоторые уверяли, будто отступление это совершается преднамеренно, для того, чтобы заманить красных, а потом окружить их и уничтожить. Кое-кто из татарцев потихоньку начал собираться к отъезду. Подкармливали быков и лошадей, ночами зарывали в ямы хлеб, сундуки с наиболее ценным имуществом. Замолкший было орудийный гул 5 сен-

тября возобновился с новой силой и теперь звучал уже отчетливо и грозно. Бой шли верстах в сорока от Дона, по направлению на северо-восток от Татарского. Через день загремело и вверх по течению на западе. Фронт неотвратимо подвигался к Дону.

Ильинична, зная о том, что большинство хуторян собирается отступать, предложила Дуняшке уехать. Она испытывала чувство растерянности и недоумения и не знала, как ей быть с хозяйством, с домом: надо ли все это бросать и уезжать вместе с людьми, или оставаться дома. Перед отъездом на фронт Пантелей Прокофьевич говорил о молотбе, о зяби, о скоте, но ни словом не обмолвился о том, как им быть, если фронт приблизится к Татарскому. На всякий случай Ильинична решила так: отправить с кем-нибудь из хуторных Дуняшку с детьми и наиболее ценным имуществом, а самой оставаться, даже в том случае, если красные займут хутор.

В ночь на 17 сентября неожиданно явился домой Пантелей Прокофьевич. Он пришел пешком из-под Казанской станицы, измученный, злой. Отдохнув с полчаса, сел за стол и начал есть так, как Ильинична еще за всю свою жизнь не видела: полуведерный чугун постных щей словно за себя кинул, а потом навалился на пшеничную кашу. Ильинична от изумления дуками всплеснула:

— Господи, да как уж ты ешь, Прокофич! Как, скажи, ты три дня не ел!

— А ты думала — ел, старая дура? Трое суток в аккурат маковой росинки во рту не было!

— Да что же, вас там не кормят, что ли?

— Черти бы их так кормили! — мурлыча по-кошачьему, с набитым ртом, отвечал Пантелей Прокофьевич. — Что спомыслишь — то и полопаешь, а я воровать ишо не обучился. Это молодым добро, у них совести-то и на смак не осталось... Они за эту проклятую войну так руки на воровстве набили, что я ужасался, ужасался, да и перестал. Всё, что увидят, — берут, тянут, волокут.. Не война, а страсть господня!

— Ты бы не доразу наедался. Как бы тебе чего не поделалось. Глянь, как ты раздулся-то, чисто паук!

— Помалкивай. Молока принеси, да побольше корчажку!

Ильинична даже заплакала, глядя на своего насмерть изголодавшегося старика.

— Что ж, ты навовсе пришел? — спросила она после того, как Пантелей Прокофьевич отвалился от каши.

— Там видно будет... — уклончиво ответил он.

— Вас, стариков, стало быть, спустили по домам?

— Никого не спускали. Куда спускать, ежли красные уже к Дону подпирают? Я сам ушел.

— А не придется тебе отвечать за это? — опасливо спросила Ильинична.

— Поймают, — может, и отвечать придется.

— Да ты, что же, хорониться будешь?

— А ты думала, что на игрища буду бегать, али по гостям ходить? Тыфу, бестолочь идолова! — Пантелей Прокофьевич с сердцем сплюнул, но старуха не унималась:

— Ох, грех-то какой! Ишо беды наживем, как-раз ишо дерзать тебя зачнут...

— Ну, уж лучше тут нехай ловят да в тюрьму сажают, чем там по степям с винтовкой таскаться, — устало сказал Пантелей Прокофьевич. — Я им не молоденький по сорок верст в день отмахивать, окопы рыть, в атаки бегать, да по земле полозить, да хорониться от пульев. Чорт от них ухоронится! Моего односума с Кривой речки цокнула пуля под левую лопатку — и ногами ни разу не копнул. Тоже, приятности мало в таком деле!

Винтовку и подсумок с патронами старик отнес и спрятал в мякиннике, а когда Ильинична спросила, где же его зипун, — хмуро и неохотно ответил:

— Прожил. Вернее сказать — бросил. Нажали на нас за станицей Шумилинской так, что все побросали, бегли, как полоумные. Там уж не до зипуна было... Кой у кого полушубки

были, и те покидали... И на чорта он тебе сдался, зипун, что ты об нем поминаешь? Уж ежли б зипун был добрый, а то так, нищая справа...

На самом деле зипун был добротный, новый, но все, чего лишался старик, — по его словам, было никуда негодное. Такая уж у него повелась привычка утешать себя. Ильинична знала об этом, а потому и спорить о качестве зипуна не стала.

Ночью на семейном совете решили: Ильиничне и Пантелею Прокофьевичу с детишками оставаться дома до последнего, оберегать имущество, обмолоченный хлеб зарыть, а Дуняшку на паре старых быков отправить с сундуками к родне, на Чир, в хутор Лагышев.

Планам этим не суждено было осуществиться в полной мере. Утром проводили Дуняшку, а в полдень в Татарский вехал карательный отряд из сальских казаков-калмыков. Должно быть, кто-нибудь из хуторян видел пробиравшегося домой Пантелея Прокофьевича; через час после вступления в хутор карательного отряда четверо калмыков прискакали к мелеховскому базу. Пантелей Прокофьевич, завидев коных, с удивительной быстротой и ловкостью вскарабкался на чердак; гостей встречать вышла Ильинична.

— Где твой старика? — спросил пожилой статный калмык, с погонами старшего урядника, спешиваясь и проходя мимо Ильиничны в калитку.

— На фронте. Где же ему быть, — грубо ответила Ильинична.

— Веди дом, обыск делаю буду.

— Чего искать-то?

— Старика твой искать. Ай, стыдно! Старая какая — брехня живешь! — укоризненно качая головой, проговорил молодцеватый урядник и оскалил густые белые зубы.

— Ты не ощеряйся, неумытый! Сказано тебе нету, значит — нету!

— Кончай балачка, веди дом! Нет, — сами ходим, — строго сказал обиженный калмык и решительно зашагал к крыльцу, широко ставя вывернутые ноги.

Они тщательно осмотрели комнаты, поговорили между собой по-калмыцки, потом двое пошли осматривать подворье, а один — низенький и смуглый до черноты, с рябым лицом и приплюснутым носом — подтянул широкие шаровары, украшенные лампасами, вышел в сенцы. В просвет распахнутой двери Ильинична видела, как калмык прыгнул, уцепился руками за переруб и ловко полез наверх. Пять минут спустя он ловко соскочил оттуда, за ним, кряхтя, осторожно слез весь измазанный в глине, с паутиной на бороде, Пантелей Прокофьевич. Посмотрев на плотно сжавшую губы старуху, он сказал:

— Нашли проклятые! Значит, кто-нибудь доказал...

Пантелея Прокофьевича под конвоем отправили в станицу Каргинскую, где находился военно-полевой суд, а Ильинична всплакнула немного и, прислушиваясь к возобновившемуся орудиному грому и отчетливо слышимой пулеметной трескотне за Доном, пошла в амбар, чтобы припрятать хоть немного хлеба.

ГЛАВА XXII

Четырнадцать изловленных дезертиров ждали суда. Суд был короткий и немилостивый. Престарелый есаул, председательствовавший на заседаниях, спрашивал у подсудимого его фамилию, имя, отчество, чин и номер части, узнавал, сколько времени подсудимый пробыл в бегах, затем вполголоса перебрасывался несколькими фразами с членами суда — безруким хорунжим и разевшимся на легких хлебах, усатым и пухломордым вахмистром — и объявлял приговор. Большинство дезертиров присуждалось к телесному наказанию розгами, которое производили калмыки в специально отведенном для этой цели нежиле доме. Слешком много развельсь дезертиров в воинственной Донской армии, чтобы можно было пороть их открыто и всенародно, как в 1918 году...

Пантелея Прокофьевича вызвали шестым по счету. Взволнованный и

бледный стоял он перед судейским столом, держа руки по швам.

— Фамилия? — спросил есаул, не глядя на спрашиваемого.

— Мелехов, ваше благородие.

— Имя, отчество?

— Пантелей Прокофьев, ваше благородие.

Есаул поднял от бумаг глаза, пристально посмотрел на старика.

— Вы откуда родом?

— С хутора Татарского Вешенской станицы, ваше благородие.

— Вы не отец Мелехова Григория, сотника?

— Так точно, отец, ваше благородие. — Пантелей Прокофьевич сразу приободрился, почувяв, что розги, как будто, отдаляются от его старого тела.

— Послушайте, как же вам не стыдно? — спросил есаул, не сводя колючих глаз с осунувшегося лица Пантелея Прокофьевича.

Тут Пантелей Прокофьевич, нарушив устав, приложил левую руку к груди, плачущим голосом сказал:

— Ваше благородие, господин есаул! Заставьте за вас век бога молить — не приказывайте меня сечь! У меня двое сынов венатых... старшего убили красные... Внуки есть, и меня, такого ветхого старика, пороть надо?

— Мы и стариков учим, как надо служить. А ты думал, тебе за бегство из части крест дадут? — прервал его безрукий хорунжий. Углы рта у него нервически подергивались.

— На что уж мне крест... Отправьте меня в часть, буду служить верой и правдой... Сам не знаю, как я убег: должно, нечистый попутал... — Пантелей Прокофьевич еще что-то бессвязно говорил о недомолоченном хлебе, о своей хромоте, о брошенном хозяйстве, но есаул движением руки заставил его замолчать, наклонился к хорунжему и что-то долго шептал ему на ухо. Хорунжий утвердительно кивнул головой, и есаул повернулся к Пантелею Прокофьевичу.

— Хорошо. Вы все сказали? Я знаю вашего сына и удивляюсь тому, что он имеет такого отца. Когда вы бежали из части? Неделю назад? Вы,

что же, хотите, чтобы красные заняли ваш хутор и содрали с вас шкуру? Такой-то пример вы подаете молодым казакам? По закону мы должны судить вас и подвергнуть телесному наказанию, но из уважения к офицерскому чину вашего сына я вас избавляю от этого позора. Вы были рядовым?

— Так точно, ваше благородие.

— В чине?

— Младшим урядником был, ваше благородие.

— Снять лычки! — Перейдя на «ты», есаул повысил голос, грубо приказал: — Сейчас же отправляйся в часть! Доложи командиру сотни, что решением военно-полевого суда ты лишен звания урядника. Награды за эту или за прошлые войны имел?.. Ступай!

Не помня себя от радости, Пантелей Прокофьевич вышел, перекрестился на церковный купол и... через бугор бездорожно направился домой. «Ну, уж зараз я не так прихоронюсь! Чорта с два найдут, нехай хучь три сотни казаков присылают!» — думал он, хромая по заросшей брицей стерне.

В степи он решил, что лучше итти по дороге, чтобы не привлекать внимания проезжавших. «Как-раз ишо подумают, что я — дезертир. Нарвешься на каких-нибудь службистов — и без суда плетей ввалят» — вслух рассуждал он, сворачивая с пашни на заросший подорожником, брошенный летник и уже, почему-то, не считая себя дезертиром.

Чем ближе подвигался он к Дону, тем чаще встречались ему подводы беженцев. Повторялось то, что было весной во время отступления повстанцев на левую сторону Дона: во всех направлениях по степи тянулись нагруженные домашним скарбом арбы и брички, шли табуны ревушего скота, словно кавалерия на марше — пылили гурты овец... Скрип колес, конское ржанье, людские окрики, топот множества копыт, бляние овец, детский плач — все это наполняло спокойные просторы степи неумолчным и тревожным шумом.

— Куда, дед, правишься? Иди назад, следом за нами — красные! — крикнул с проезжавшей подводы незнакомый казак с забинтованной головой.

— Будя брехать! Где они, красные-то? — Пантелей Прокофьевич растерянно остановился.

— За Доном. Подходят к Вешкам. А ты к ним идешь?

Успокоившись, Пантелей Прокофьевич продолжал путь и к вечеру подошел к Татарскому. Спускаясь с горы, он внимательно присматривался. Хутор поразил его безлюдьем. На улицах не было ни души. Безмолвно стояли брошенные, с закрытыми ставнями курени. Не слышно было ни людского голоса, ни скотиньего мыка; только возле самого Дона оживленно сновали люди. Приблизившись, Пантелей Прокофьевич без труда распознал вооруженных казаков, вытаскивавших и переносивших в хутор баркасы. Татарский был брошен жителями, это стало ясно Пантелею Прокофьевичу. Осторожно войдя в свой проулок, он зашагал к дому. Ильинична и детишки сидели в кухне.

— Вот он и дедуня! — обрадованно воскликнул Мишатка, бросившись деду на шею.

Ильинична заплакала от радости, сквозь слезы проговорила:

— И не чаяла тебя увидеть! Ну, Прокофич, как хочешь, а оставаться тут я больше не согласная! Нехай все горит ясным огнем, только окарауливать порожний курень я не буду. Почти все с хутора выехали, а я с детишками сiju, как дура! Зараз же запрягай кобылу, и поедем, куда глаза глядят! Отпустили тебя?

— Отпустили.

— Навовсе?

— Навовсе, пока не поймают...

— Ну, и тут тебе не хорониться! Нынче утром как застреляли с этой стороны красные — ажник страшно! Я уж с ребятами в погребу сидела, пока стрельба шла. А зараз отогнали их. Приходили казаки, молока спрашивали и советовали уехать отсюда.

— Казаки-то не наши хутоонные? — поинтересовался Пантелей Прокофье-

вич, внимательно рассматривая в личнике окна свежую пулевую пробоину.

— Нет, чужие, никак откель-то с Хопра.

— Тогда надо уезжать, — со вздохом сказал Пантелей Прокофьевич.

К ночи он вырыл в кизечнике яму, свалил туда семь мешков пшеницы, старательно зарыл и завалил кизеками, а как только смерклось — запряг в арбочку кобылу, положил две шубы, мешок муки, пшена, связанную овцу, привязал к задней грядущке обеих коров и, усадив Ильиничну и детишек, проговорил:

— Ну, теперь — с богом! — Выехал со двора, передал вожжи старухе, закрыл ворота и до самого бугра сморкался и вытирал рукавом чекменя слезы, шагая рядом с арбочкой.

ГЛАВА XXIII

17 сентября части ударной группы Шорина, сделав тридцативерстный переход, вплотную подошли к Дону. С утра 18-го красные батареи загремели от устья Медведицы до станицы Казанской. После короткой артиллерийской подготовки пехота заняла обдонские хутора и станицы Букановскую, Еланскую, Вешенскую. В течение дня левобережье Дона на протяжении более чем полутора верст было очищено от белых. Казачьи сотни отступили, в порядке переправившись через Дон на заранее заготовленные позиции. Все имевшиеся средства переправы находились у них в руках, но вешенский мост едва не был захвачен красными. Казаки заблаговременно сложили около него солому и облили деревянный настил керосином, чтобы поджечь при отступлении, и уже собирались было поджигать, как в это время прискакал связной с сообщением, что одна из сотен 37-го полка идет с хутора Перевозного в Вешенскую к переправе. Отставшая сотня карьером прискакала к мосту в тот момент, когда красная пехота уже всту-

пала в станицу. Под пулеметным огнем казаки все же успели проскочить по мосту и поджечь его за собой, потеряв более десяти человек убитыми и ранеными и такое же количество лошадей.

До конца сентября полки 22-й и 23-й дивизий 9-й Красной армии удерживали занятые ими хутора и станицы левой стороны Дона. Противников разделяла река, максимальная ширина которой в то время не превышала восьмидесяти сажен, а местами доходила до тридцати. Активных попыток к переправе красные не предпринимали; кое-где на бродах они пробовали перейти Дон, но были отбиты. На всем протяжении фронта на этом участке в течение двух недель шла оживленная артиллерийская и ружейная перестрелка. Казаки занимали господствовавшие над местностью прибрежные высоты, обстреливая скопления противника на подступах к Дону, не позволяя ему днем продвигаться к берегу; но так как казачьи сотни на этом участке состояли из наименее боеспособных формирований (старики и молодежь в возрасте от семнадцати до девятнадцати лет), то и сами они не пытались перейти Дон, чтобы оттеснить красных и двинуться в наступление по левобережью.

Отступив на правую сторону Дона, в первый день казаки ждали, что вот-вот запылают курени занятых красными хуторов, но, к их великому удивлению, на левой стороне не показалось ни одного дымка; мало того — переправившись ночью с той стороны жители сообщили, что красноармейцы ничего не берут из имущества, а за взятые продукты, даже за арбузы и молоко, щедро платят советскими деньгами. Это вызвало среди казаков растерянность и величайшее недоумение. Им казалось, что после восстания красные должны бы выжечь дотла все повстанческие хутора и станицы; они ждали, что оставшаяся часть населения, во всяком случае мужская его половина, будет беспощадно истреблена, но, по достоверным сведениям, красные никого из мирных жителей не

трогали и, судя по всему, даже и не помышляли о мщении.

В ночь на 19-е казаки-хоперцы, бывшие в заставе против Вешенской, решились разведать о столь странном поведении противника; один голосистый казак сложил трубою руки, крикнул:

— Эй, краснопузые! Слышите, поджигатели? Чего же вы дома наши не жжете? Спичек у вас нету? Так плывите к нам, мы вам дадим!

Ему из темноты зычно ответили:

— Вас не прихватили на месте, а то бы сожгли вместе с домами!

— Обнищали? Поджечь нечем? — задорно кричал хоперец.

Спокойно и весело ему отвечали:

— Плыви сюда, белая курва, мы тебе жару в мотню насыпем. Век будешь чесаться!

На заставах долго переругивались и всячески язвили друг друга, а потом постреляли немного и притихли.

В первых числах октября основные силы Донской армии, в количестве двух корпусов сосредоточенные на участке Казанская — Павловск, перешли в наступление. 3-й донской корпус, насчитывавший в своем составе 8 000 штыков и более 6 000 сабель, неподалеку от Павловска форсировал Дон, отбросил 56-ю красную дивизию и начал успешное продвижение на восток. Вскоре переправился через Дон и 2-й коноваловский корпус. Преобладание конницы в его составе дало ему возможность глубоко внедриться в расположение противника и нанести ряд сокрушительных ударов. Введенная в дело 21-я стрелковая красная дивизия, находившаяся до этого во фронтовом резерве, несколько задержала продвижение 3-го донского корпуса, но под давлением соединившихся казачьих корпусов должна была начать отход. 14 октября 2-й казачий корпус в ожесточенном бою разгромил и почти полностью уничтожил 14-ю красную стрелковую дивизию. За неделю левый берег Дона был очищен от красных вплоть до станицы Вешенской. Заняв широкий плацдарм, казачьи корпуса отеснили части 9-й Красной армии на фронт Лузеве — Ширинкин — Воробьевка, принудив 23-ю дивизию 9-й армии поспеш-

но перестроить фронт в западном направлении от Вешенской на хутор Кругловский.

Почти одновременно со 2-м корпусом генерала Коновалова форсировал Дон на своем участке и 1-й донской корпус, находившийся в районе станицы Клецкой.

Угроза окружения встала перед 22-й и 23-й левофланговыми красными дивизиями. Учитывая это, командование Юго-Восточным фронтом приказало 9-й армии отойти на фронт устье реки Икорец — Бутурлиновка — Успенская — Тишанская — Кумылженская. Но удержаться на этой линии армии не удалось. Набранные по всеобщей мобилизации многочисленные и разрозненные казачьи соти переправились с правого берега Дона и, объединившись с регулярными войсковыми частями 2-го казачьего корпуса, продолжили стремительно гнать ее на север. С 24-го по 29 октября белыми были заняты станицы Филоново, Поворино и город Новохоперск. Однако, как ни велики были успехи Донской армии в октябре, но в настроении казаков уже отсутствовала та уверенность, которая окрыляла их весной, во время победоносного движения к границам области. Большинство фронтовиков понимало, что успех этот — временный и что продержаться дольше зимы им не удастся.

С момента, когда на Южный фронт прибыл товарищ Сталин и когда предложенный им план разгрома южной контрреволюции (движение через Донбасс, а не через Донскую область¹) на-

¹ В своей исторической записке Ленину товарищ Сталин писал:

«...На-днях Главком дал Шорину директиву о наступлении на Новороссийск через донские степи по линии, по которой может быть и удобно летать нашим авиаторам, но уже совершенно невозможно будет бродить нашей пехоте и артиллерии.

Нечего и доказывать, что этот сумасбродный (предполагаемый) поход в среде вражеской нам, в условиях абсолютного бездорожья, грозит нам полным крахом. Нетрудно понять, что этот поход на казачьи станицы, как это показала недавняя практика, может лишь сплотить казаков против нас вокруг Деникина для защиты своих станиц, может лишь выставить Деникина спасителем Дона, может лишь создать армию казаков для Деникина, т. е. может лишь усилить Деникина. Именно поэтому необходимо теперь же, не теряя времени, изменить уже

чал осуществляться, — обстановка на Южном фронте резко изменилась. Поражение Добровольческой армии в генеральном сражении на Орловско-Кромском направлении и блестящие действия буденновской конницы на воронежском участке решили исход борьбы: в ноябре Добровольческая армия покатила на юг, обнажая левый фланг Донской армии, увлекая и ее в своем отступлении.

ГЛАВА XXIV

Две с половиной недели Пантелей Прокофьевич благополучно прожил с семьей в хуторе Латышевом и, как только услышал, что красные отступили от Дона, собрался ехать домой.

Верстах в пяти от хутора он с решительным видом слез с арбочки, сказал:

— Нету моего терпенья тянуться шагом! А через этих проклятых коров рысью не поскачешь. И на чорта мы их гоняли с собой? Дуняшка! Останови быков! Привязывай коров к своей арбе, а я рыском тронусь домой. Там теперь уж, может, от подворья одна зола осталась...

Обуянный величайшим нетерпением, он пересадил детишек со своей арбочки на просторную арбу Дуняшки, переложил туда же лишний груз и, налегках, рысью загремел по кочковатой дороге. Кобыла вспотела на первой же версте.

отмененный практикой старый план, заменив его планом основного удара через Харьков — Донецкий бассейн на Ростов:

во-первых, здесь мы будем иметь среду не враждебную, наоборот, — симпатизирующую нам, что облегчит наше продвижение;

во-вторых, мы получаем важнейшую железнодорожную сеть (донецкую) и основную артерию, питающую армию Деникина, — линию Воронеж — Ростов...

в-третьих, этим продвижением мы рассекаем армию Деникина на две части, из коих добровольческую оставляем на с'едение Махно, а казачьи армии ставим под угрозу захода им в тыл;

в-четвертых, мы получаем возможность посорить казаков с Деникиным, который (Деникин) в случае нашего успешного продвижения постарается передвинуть казачьи части на запад, на что большинство казаков не пойдет...

в-пятых, мы получаем уголь, а Деникин остается без угля. С принятием этого плана нельзя медлить...».

Еще никогда хозяин не обращался с ней столь безжалостно: он не выпускал кнута из рук, беспрестанно погоняя ее.

— Загонишь кобылу! Чего ты скачешь, как оглашенный? — говорила Ильинична, вцепившись в ребра арбочки, страдальчески морщась от тряски.

— Она ко мне на могилу плакать все одно не придет... Но-о-о, проклятушая! За-по-те-ла!.. Там, может, от куреня одни пеньки остались... — сквозь стиснутые зубы цедил Пантелей Прокофьевич.

Опасения его не оправдались: курень стоял целехонький, но почти все окна в нем были выбиты, дверь сорвана с петель, стены исковыряны пулями. Все во дворе являло вид заброшенности и запустения. Угол конюшни начисто снесло снарядом, второй снаряд вырыл неглубокую воронку возле колодезя, развалив сруб и переломив пополам колодезный журавль. Война, от которой бегал Пантелей Прокофьевич, сама пришла к нему во двор, оставив после себя безобразные следы разрушения. Но еще больший ущерб хозяйству причинили хоперцы, стоявшие в хуторе постоем: на скотиньем базу они повалили плетни, вырыли глубокие, в рост человека, траншеи; чтобы не утруждать себя излишней работой, разобрали стены у амбара и из бревен поделали накаты в траншеях; раскидали каменную огорожу, мастера бойницы для пулемета; уничтожили полприкладка сена, бесхозяйственно потравив его лошадьми; пожгли плетни и загадили всю летнюю стряпку...

Пантелей Прокофьевич за голову взялся, осмотрев дом и надворные постройки. На этот раз ему изменила всегдашняя его привычка обесценивать утраченное. Чорт возьми, не мог же он сказать, что все нажитое им ничего не стоило и было годно только на слом? Амбар — не зипун, и постройка его обошлась недешево.

— Как не было амбара! — со вздохом проговорила Ильинична.

— Он и амбар-то был... — с живостью отозвался Пантелей Прокофьевич, но не кончил, махнул рукой, пошел на гумно.

Рябые, изуродованные осколками и пулями стены дома выглядели неприветливо и заброшенно. В комнатах свистел ветер, на столах, на скамьях толстым слоем лежала пыль... Много времени требовалось, чтобы привести все в порядок.

Пантелей Прокофьевич на другой же день с'ездил верхом в станицу и не без труда выпросил у знакомого фельдшера бумагу, удостоверяющую, что ввиду болезни ноги казак Мелехов Пантелей не способен к хождению пешком и нуждается в лечении. Свидетельство это помогло Пантелею Прокофьевичу избавиться от отправки на фронт. Он предъявил его атаману и, когда ходил в хуторское правление, для вящшей убедительности опирался на палку, хромял поочередно на обе ноги.

Никогда еще жизнь в Татарском не шла так суетливо и бестолково, как после возвращения из отступления. Люди ходили из двора во двор, опознавая растащенное хоперцами имущество, рыскали по степи и по буеракам в поисках отбившихся от табуна коров. Гурт в триста штук овец с верхнего конца хутора исчез, в первый же день, как только Татарский подвергся артиллерийскому обстрелу. По словам пастуха, один из снарядов разорвался впереди пасшегося гурта, и овцы, замигав курдюками, в ужасе устремились в степь и исчезли. Их нашли за сорок верст от хутора, на земле Еланской станицы, через неделю после того, как жители возвратились в покинутый хутор, а когда пригнали и стали разбирать, то оказалось, что в гурте половина чужих овец, с незнакомой метой в ушах, своих же, хуторских, недосчитались более пятидесяти штук. На огороде у Мелеховых оказалась швейная машина, принадлежавшая Богатыревым, а жесть со своего амбара Пантелей Прокофьевич разыскал на гумне у Аникушки. То же самое творилось и в соседних хуторах. И долго еще заживали в Татарский жители ближних и дальних хуторов Обдонья; и долго еще при встречах звучали вопросы: «Не видали вы корову, рыжую, на лбу лысина, левый рог сбитый?». — «Слушаем, не приблудился к вам бычок-летошник, бурой масти?».

Наверное, не один бычок был сварен в казачьих сотенных котлах и в походных котлах, но, подстегиваемые надеждой, хозяева подолгу меряли степь, пока не убеждались, что не все пропавшее находится.

Пантелей Прокофьевич, получив освобождение от службы, деятельно приводил в порядок постройки и огорожу. На гумне стояли недомолоченные прикладные хлеба, по ним шныряли прожорливые мыши, но старик не брался за мольбу. Да и разве можно было за него браться, ежели двор стоял разгороженный, амбара не было и в помине и все в хозяйстве являло мерзостный вид разрухи? К тьме же и осень стояла погжая и с обмолотом не было надобности спешить.

Дунышка и Ильнична обмазали и побелили курень, всемерно помогали Пантелею Прокофьевичу в устройстве временной огорожи и в прочих хозяйственных делах. Кое-как добыли стекло, вставили окна, очистили стряпку, колодезь. Старик сам спускался в него и, как видно, там приостыл, с неделю кашлял, ходил с мокрой от пота рубахой. Но стоило ему выпить за присест две бутылки самогона, а потом полежать на горячей печи, как болезнь с него словно рукой сняло.

От Григория попрежнему не было вестей, и только в конце октября случайно Пантелей Прокофьевич узнал, что Григорий пребывает в полном здравии и вместе со своим полком находится где-то в Воронежской губернии. Сообщил ему об этом раненый однополчанин Григория, проезжавший через хутор. Старик повеселел, на-радостях выпил последнюю бутылку целебного, настоящего на красном перце самогона и весь целый день ходил разговорчивый, гордый, как молодой петух, останавливая каждого проходившего, говорил:

— Слыхал? Григорий-то наш Воронеж забирал! Слухом пользуемся, буди новое повышение получил он и зараз у нас сызнова командует дивизией, а может и корпусом. Таких вояк, как он, не сыскать! Небось, сам знаешь... — Старик

сочинял, испытывая неодолимую потребность поделиться своей радостью, прихвастнуть.

— Сын у тебя геройский, — говорили ему хуторяне.

Пантелей Прокофьевич счастливо подмигивал.

— И в кого бы он уродился не геройский? Смолоду и я был, скажу без хвальбы, тоже не хуже его! Нога мне препятствует, а то бы я и зараз не удал! Дивизией — не дивизией, а уж сотней знал бы, как распорядиться! Кабы нас, таких стариков, побольше на фронт, так уж давно бы Москву забрали, а то топчутся на одном месте, никак не могут с мужиками управиться...

Последний, с кем пришлось поговорить Пантелею Прокофьевичу в этот день, был старик Бесхлебнов. Он шел мимо мелеховского двора, и Пантелей Прокофьевич не преминул его остановить.

— Эй, погоди трошки, Филипп Агевич! Здорово живешь! Зайди на-час, потолкуем.

Бесхлебнов подошел, поздоровался.

— Слышал, какие коленца мой Гришка выкидывает? — спросил Пантелей Прокофьевич.

— А что такое?

— Да ить опять дивизию ему дали! Вон какой махиной командует!

— Дивизию?

— Ну да, дивизию!

— Вон как!

— То-то и есть! Абы кому не дадут, ты как думаешь?

— Само собой.

Пантелей Прокофьевич торжествующе оглядел собеседника, продолжал сладостный его сердцу разговор:

— Сын уродился истинно всем на диковину. Полный бант крестов, это как по-твоему? А сколько разов был раненый и сконтуженный? Другой бы давно издох, а ему ничем, с него это — как с гуся вода. Нет, ишо не перевелись на тихом Дону настоящие казаки!

— Не перевелись-то — не перевелись, да что-то толку от них мало, — раздумчиво проговорил не отличавшийся особой словоохотливостью дед Бесхлебнов.

— Э, как так толку мало? Гляди, как они красных погнали, уж за Воронежом, под Мòскву подожгут!

— Что-то долго они подходят...

— Скоро нельзя, Филипп Агевич. Ты в толк возьми, что на войне поспешно ничего не делается. Скоро робют — слепых родют. Тут надо все потихонечку, по картам, по этим, разным, ихним, по планам... Мужика, его в России — темная туча, а нас, казаков, сколько? Горсты!

— Вот это так, но, должно, не долго наши продержутся. К зиме опять надо гостей ждать, в народе так гутарют.

— Ежли зараз Мòскву у них не заберут, они явятся сюда, это ты верно говоришь.

— А думаешь — заберут?

— Должны бы забрать, а там — как бог даст. Неужли наши не справятся? Все двенадцать казачьих войск поднялись, и не справятся?

— Чума их знает. Ты-то что же, отвоевался?

— Какой из меня вояка! Кабы не моя ножная хворость — я бы им показал, как надо с неприятелем сражаться! Мы, старики, — народ крепкий.

— Гутарют, что эти крепкие старики на этом боку Дона так умаживали от красных, что ни на одном полушубка не осталось, все с себя до живого тела на-бегу посымали и покидали. Смеются, будто вся степь была от полушубков желтая, чисто лазоревыми цветками¹ покрытая!

Пантелей Прокофьевич покосился на Бесхлебнова, сухо сказал:

— По-моему, брехня это! Ну, может, кто для облегчения и бросил одежду, да ить люди в сто разов больше набрешут! Великое дело — зипун, то-бишь полушубок! Жизнь дороже его, али нет, спрашиваю? Да и не всякий старик может в одеже резво бегать. На этой проклятой войне нужно иметь такие ноги, как у борзого кобеля, а я, к примеру, где их достану? И об чем ты, Филипп Агевич, горюешь? На чорта, прости бог, они тебе нужны, эти полушубки? Дело не в

¹ Лазоревыми цветами на Дону называют дикорастущий тюльпан.

полубухах или, скажем, в зипунах, а в том, чтобы преуспешно неприятеля разить, так я говорю? Ну, пока прощай, а то я с тобой загутарился, а там дело стоит. Что ж, телушку-то свою нашел? Все ищешь? И слуху нету? Ну, стало быть, слопали ее хоперцы, чтоб им подавиться! А насчет войны не сумлевайся: придолеют наши мужиков! — И Пантелей Прокофьевич важно похромал к крыльцу.

Но одолеть «мужиков», как видно, было не так-то легко... Не без урона обошлось и последнее наступление казаков. Час спустя хорошее настроение Пантелея Прокофьевича было омрачено неприятной новостью. Обтесывая бревно на колодезный сруб, он услышал бабий вой и причитанья по мертвому. Крик приближался. Пантелей Прокофьевич послал Дуняшку разведать.

— Побегу, узнай, кто там помер, — сказал он, воткнув топор в дровосеку.

Вскоре Дуняшка вернулась с известием, что с филоновского фронта привезли трех убитых казаков — Аникушку, Христоню и еще одного семнадцатилетнего парнишку с того конца хутора. Пораженный новостью, Пантелей Прокофьевич снял шапку, перекрестился.

— Царство небесное им! Какой казачина-то был... — горестно сказал он, думая о Христоне, вспоминая, как вместе с ним они недавно отправлялись из Татарского на сборный пункт.

Работать он больше не мог. Аникушкина жена ревела, как резаная, и так причитала, что у Пантелея Прокофьевича подкатывало под сердце. Чтобы не слышать истошного бабьего крика, он ушел в дом, плотно притворил за собою дверь. В горнице Дуняшка, захлебываясь, рассказывала Ильиничне:

— ... глянула я, родная мамунюшка, а у Аникушки головы почти нету, какая-то каша вместо головы. Ой, и страшно же! И воняет от него за версту... И зачем они их везли — не знаю! А Христоня лежит на спине по всю повозку, ноги сзади из-под шинеля висят... Христоня — чистый и белый-белый, прямо кипенный! Только под правым глазом — дырка, махонькая, с гривенник, да за ухом — видно — запеклась кровь.

Пантелей Прокофьевич ожесточенно сплюнул, вышел во двор, взял топор и весло и захромал к Дону.

— Скажи бабке, что я поехал за Дон хворосту срубить, слышишь, родимушка? — на-ходу обратился он к игравшему возле стряпки Мишатке.

За Доном в лесу прижилась тихая, ласковая осень. С шелестом падали с топей сухие листья. Кусты шиповника стояли, будто объятые пламенем, и краевые ягоды в редкой листве их пылали, как огненные язычки. Горький, всеобещающий запах созревшей дубовой коры заполнял лес. Ежевичник — густой и хваткий — опутывал землю; под сплетением ползучих ветвей его искусно прятались от солнца дымчато-сизые, зрелые кисти ежевики. На мертвой траве, в тени до полудня лежала роса, блестела посеребренная ею паутина. Только деловитое постукиванье дятла да щебетанье дроздов-рябинников нарушало тишину.

Молчаливая, строгая красота леса умиротворяюще подействовала на Пантелея Прокофьевича. Он тихо ступал меж кустов, разгребая ногами влажный покров опавшей листвы, думал: «Вот она какая жизнь: недавно были живые, а нынче уж обмывают их. Какого казака-то свалили! А ить будто недавно приходил проведывать нас, стоял у Дона, когда ловили Дарью. Эх, Христан, Христан! Нашлась и на тебя вражья пуля... И Аникушка... какой веселый был, любил выпить, посмеяться, а зараз уж всё, покойничек... — Пантелей Прокофьевич вспомнил дуняшкины слова и с неожиданной яркостью восстановил в памяти улыбающееся, безусое, скопцеватое лицо Аникушки, — никак не мог представить себе теперешнего Аникушку — бездыханного, с разможенной головой. «Зря я гневил бога — хвалился Григорием, — укорил он себя, припомнив разговор с Бесхлебным. — Может, и Григорий теперь лежит где-нибудь, проклеванный пулями? Не дай бог и не приведи! При ком же нам, старикам, тогда жить?».

Вырвавшийся из-под куста коричневый вальдшнеп заставил Пантелея Прокофьевича вздрогнуть от неожиданно-

сти. Бесцельно проследил он за косым, стремительным полетом птицы, пошел дальше. Около небольшой музги облюбовал несколько кустов хвороста, принялся рубить. Работая, старался ни о чем не думать. За один год смерть сразила столько родных и знакомых, что при одной мысли о них на душе его становилось тяжело и весь мир тускнел и, словно, одевался какой-то черной пеленой.

— Вот этот куст надо повалить. Хороший хворост! Самое на плетни годится, — вслух разговаривал он сам с собою, чтобы отвлечь себя от мрачных мыслей. Нароботавшись, Пантелей Прокофьевич снял куртку, присел на ворох нарубленного хвороста и, жадно вдыхая терпкий запах увядшей листвы, долго глядел на далекий горизонт, повитый голубой дымкой, на дальние перелески, вызолоченные осенью, блещущие последней красотой. Непоздалеку стоял куст черноклена. Несказанно нарядный, он весь сиял под холодным осенним солнцем, и раскидистые ветви его, отягощенные пурпурной листвой, были распахнуты, как крылья взлетающей с земли сказочной птицы. Пантелей Прокофьевич долго любовался им, а потом случайно глянул на музгу и увидел в прозрачной стоячей воде темные спины крупных сазанов, плававших так близко от поверхности, что были видны их плавники и шевелящиеся багряные хвосты. Их было штук восемь. Они иногда скрывались под зелеными щитами кувшинок и снова выплывали на чистое, хватали тонущие, мокрые листочки вербы. Музга к осени почти пересохла, и переловить сазанов не составляло особого труда. После недолгих поисков Пантелей Прокофьевич нашел брошенную возле соседнего озера кошелку без дна, вернулся к музге, снял штаны, — поживаясь и кряхтя от холода, приступил к ловле. Взмучив воду, по колено утолая в иле, он брел вдоль музги, опускал кошелку, придавливая края ее ко дну, а затем совал внутрь кошелки руку, в ожидании, что вот-вот всплеснет и забурлит могучая рыба. Старания его увенчались успехом: ему удалось накрыть трех сазанов фунтов по десяти каждый. Продолжать ло-

влю и дальше он не смог, от холода судорога начала сводить его искалеченную ногу. Удовольствовавшись добычей, он вылез из музги, обтер чаканом ноги, оделся, снова начал рубить хворост, чтобы согреться. Это была, как никак, удача. Неожиданно поймать почти пуд рыбы не всякому придется! Ловля развлекла его, отогнала мрачные мысли. Он надежно спрятал кошелку, с намерением притти доловить оставшуюся рыбу, — опасливо оглянулся: не видел ли кто, как он выбрасывал на берег золотистых и толстых, словно поросята, сазанов, — и лишь после этого поднял вязанку хвороста и нанизанных на хворостину рыб, неспеша направился к Дону.

С довольной улыбкой он рассказал Ильиничне про свое ловецкое счастье, полюбовался еще раз на отливающих красной медью сазанов, но Ильинична неохотно разделяла его восторг. Она ходила смотреть на убитых и пришла оттуда заплаканная и грустная.

— Пойдешь глянуть на Аникея? — спросила она.

— Не пойду. Что я, мертвых не видел, что ли? Нагляделся я на них, хватит!

— Ты сходил бы. Все вроде неудобно, скажут — и попрощаться не пришел.

— Отвяжись, ради Христа! Я с ним детей не крестил, и нечего мне с ним попрощаться! — свирепо огрызнулся Пантелей Прокофьевич.

Он не пошел и на похороны, с утра уехал за Дон, и пробыл там целый день. Погребальный звон заставил его в лесу снять шапку; перекреститься, а потом он даже подосадовал на попа: мыслимое ли дело звонить так долго? Ну, ударили бы в колокола по разу и все, а то благовестили на целый час. И что проку от этого звона? Только разве редят людям сердца да заставляют лишний раз вспомнить о смерти. А об ней осенью и без этого все напоминает: и падающий лист, и с криком пролетающие в голубом небе станицы гусей, и мертвенно полегшая трава...

Как ни оберегал себя Пантелей Прокофьевич от всяких тяжелых пережива-

ний, но вскоре пришлось ему испытать новое потрясение. Однажды за обедом Дуняшка взглянула в окно, сказала:

— Ну, ишо какого-то убитого с фронта везут! Сзади повозки служивский подседланный конь идет, привязанный на чумбуре, и едут нерезко... Один лошадами правит, а мертвый под шинелем лежит. Этот, какой правит, сидит спиной к нам, не узнаю — наш хуторной или нет... — Дуняшка присмотрелась внимательно, и щеки ее стали белее полстна. — А ить это... а ить это... — невнятно зашептала она и вдруг пронзительно крикнула: — Гришу везут!.. Его конь! — И, рыдая, выбежала в сенцы.

Ильинична, не вставая из-за стола, прикрыла глаза ладонью. Пантелей Прокофьевич тяжело поднялся со скамьи, пошел к двери, вытянув вперед руки, как слепой.

Проход Зыков открыл зорота, мельком взглянул на сбежавшую с крыльца Дуняшку, невесело сказал:

— Принимайте гостей... Не ждали?

— Родной ты наш! Братунюшка! — заламывая руки, простонала Дуняшка.

И только тогда Проход, поглядев на ее мокрое от слез лицо, на безмолвно стоявшего на крыльце Пантелея Прокофьевича, догадался сказать:

— Не пужайтесь, не пужайтесь! Он живой. В тифу он лежит.

Пантелей Прокофьевич обессиленно прислонился спиной к дверному косяку. — Живой!!! — смеясь и плача, закричала ему Дуняшка. — Живой Гриша! Слышишь?! Его хворого привезли! Иди же, скажи матери! Ну, чего стоишь?!

— Не пужайся, Пантелей Прокофич! Доставил живого, а про здоровье не спрашивай, — торопливо подтвердил Проход, под уздцы вводя лошадей во двор.

Пантелей Прокофьевич сделал несколько неуверенных шагов, опустился на одну из ступенек. Мимо него вихрем громчалась в дом Дуняшка, чтобы успокоить мать. Проход остановил лошадей возле самого крыльца, поглядел на Пантелея Прокофьевича.

— Чего ж сидишь? Неси полсть, будем сносить.

Старик сидел молча. Из глаз его градом сыпались слезы, а лицо было неподвижно, и ни единый мускул не шевелился на нем. Два раза он поднимал руку, чтобы перекреститься, и опускал ее, будучи не в силах донести до лба. В горле его что-то булькало и клочкотало.

— Ты, видать, от ума отошел с перепугу, — сожалеюще сказал Проход. — И как это я не догадался послать вперед кого-нибудь, предупредить вас? Оказался дурак я, право слово, дурак! Ну, поднимайся, Прокофич, надо же хворого сносить. Где у вас полсть? Или на руках понесем?

— Погоди трюшки... — хрипло проговорил Пантелей Прокофьевич. — Что-то у меня ноги отнялись... Думал — убитый... Слава богу... Не ждал... — Он оторвал пуговицы на воротнике своей старенькой рубахи, распахнул ворот и стал жадно вдыхать воздух широко раскрытым ртом.

— Вставай, вставай, Прокофич! — торопил Проход. — Окромя нас, несть-то его ить некому?

Пантелей Прокофьевич с заметным усилием поднялся, сошел с крыльца, откинул шинель и нагнулся над лежавшим без сознания Григорием. В горле его снова что-то заклокотало, но он овладел собой, повернулся к Проходу.

— Берись за ноги. Понесем.

Григория внесли в горницу, сняли с него сапоги, раздели его и уложили на кровать. Дуняшка тревожно крикнула из кухни:

— Батя! С матерью плохо... Поди сюда!

В кухне на полу лежала Ильинична. Дуняшка, стоя на коленях, брызгала водой в ее посиневшее лицо.

— Беги, кличь бабку Капитоновну, живо! Она умеет кровь отворять. Скажи, что надо матери кровь кинуть, нехай захватит с собой струмент! — приказал Пантелей Прокофьевич.

Не могла же Дуняшка — заневестившаяся девка — бежать по хутору простоволосой; она ухватила платок, — торопливо покрываясь, сказала:

— Детей вон напужали до смерти!

Господи, и что это такое за напасть... Пригляди за ними, батя, а я смотаюсь в один момент!

Может быть, Дуняшка и в зеркало бы мельком посмотрелась, но оживший Пантелей Прокофьевич глянул на нее такими глазами, что она опрометью выскочила из кухни.

Выбежав за калитку, Дуняшка увидела Аксинью. Ни кровинки не было в белом аксиньином лице. Она стояла, прислонившись к плетню, безжизненно опустив руки. В затуманенных черных глазах ее не блестели слезы, но столько

в них было страдания и немой мольбы, что Дуняшка, остановившись на секунду, невольно и неожиданно для себя сказала:

— Живой, живой! Тиф у него. — И побежала по проулку рысью, придерживая руками подпрыгивающую высокую грудь.

К мелеховскому двору отовсюду спешили любопытные бабы. Они видели, как Аксинья неторопливо пошла от мелеховской калитки, а потом вдруг ускорила шаги, согнулась и закрыла лицо руками.

(Продолжение следует)

рисунках передать характер поэмы, ее героину. Он нашел монументальные формы рисунка большой силы, передающего величавость и грандиозность событий, титанизм и неустрашимость, отвагу и смелость героев поэмы, близкой и созвучной людям страны социализма, людям сталинской эпохи. Он показал все разнообразие характеров и событий, насыщающих поэму, ее жизнерадостный гуманизм, бесконечную веру в человеческие таланты. Художник создал образы большой пластической осязательности. Хороши иллюстрации Кобуладзе к «Так было» Лордкипанидзе.

И. Тоидзе представлен большим циклом иллюстраций к поэме Руставели. Его рисунки, как и работы С. Кобуладзе, являются лучшими иллюстрациями из всего, что создано к этой поэме. В прекрасных портретах отдельных героев поэмы переданы характеры с большой убедительностью. Блестящи батальные сцены, сцены охоты и сражений. Здесь чувствуется ширь, размах Руставели, грандиозность его замысла.

Из работ других графиков отметим работы Е. Ахведиани, сделанные с чувством глубокого реализма — «Читка газет», прекрасные иллюстрации к поэме Лонгфелло «Песнь о Гайавате», иллюстрации к книге Квдиашвили «Приключения дворянина из Лахундари». С большим техническим совершенством выполнены иллюстрации И. Габашвили к «Шах-Наме» Фердоуси, на которых, правда, лежит печать стилизации под персидскую миниатюру. Больше непосредственной жизни в его иллюстрациях к народным сказкам. На стилизации же строит свои рисунки к «Тысяча и одной ночи» В. Гудиашвили. Романтической взволнованностью веет от гравюры на дереве В. Кутателадзе «Пушкин в Грузии».

В последнем отделе выставки представлено дореволюционное искусство Грузии, начиная с древнейших рельефов VII—X веков и копий с фресок, кончая работами живописцев начала XX столетия. Все эти работы свидетельствуют о своеобразии грузинского искусства, его неизменном тяготении к реализму и о высокой национальной культуре, которую грузинский народ отстоял в жесточайшей борьбе с иноземными поработителями. В начале XIX века безымянные мастера создали прекрасные, полные красоты и очарования портреты. Конец XIX в. ознаменован творчеством крупнейшего реалиста-живописца Грузии Г. Габашвили, мастера горячего темперамента и большого размаха, творца прекрасных, богатых по колориту полотен, посвященных народу Грузии.

Выставка наглядно показывает, что только после Великой Октябрьской социалистической революции грузинский народ, талантливый и героический, получил возможность раскрыть все свои прекрасные дарования. Раньше только отдельным счастливым-одиночкам удавалось после большой борьбы выбрать на дорогу настоящего искусства, сейчас любому талантливому сыну народа открыты все пути, все дороги к полноценной творческой жизни.

Выставка свидетельствует об огромных возможностях многонациональной культуры нашей великой родины. Представляя ценный вклад в революционную историческую живопись и показывая основные этапы революционной борьбы вождя народов товарища Сталина и истории большевистских организаций Закавказья, выставка грузинского искусства исключительно глубоко захватывает зрителя, надолго запечатлевает в его памяти любимый образ товарища Сталина.

Редколлегия: Ф. В. Гладнов.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Ответственный редактор В. П. Ставский